

Семен Соломонович Юшкевич

Вышла из круга



Семен Юшкевич

Вышла из круга

«Public Domain»

1922

Юшкевич С. С.

Вышла из круга / С. С. Юшкевич — «Public Domain», 1922

«Лишь теперь она что-то поняла, разгадала, и оттого у нее такой таинственный вид, и оттого так мудро все кивает головой и улыбается. У нее ведь тайны с окном, а никто об этом не знает. Не узнают, о чем она шепчется с луной утром рано, когда все спят, или с солнцем... Солнце она видит хорошо. Оно старое, престарое, в морщинах. Когда-нибудь и она будет стоять вот в том уголке на небе, – надо только немного подождать, еще поесть, подышать, столько-то раз умыться... И когда она станет на небе рядом с солнцем, то уж все поймет, потому что там все ответы...»

© Юшкевич С. С., 1922

© Public Domain, 1922

Семен Соломонович Юшкевич

Вышла из круга

Близится вечер... Горничная, в белом переднике и в наколке, накрывает на стол и, расставляя тарелки, старается не шуметь, чтобы не беспокоить барина с барыней, уединившихся в спальне.

Ровно в шесть сядут обедать... В столовой, большой и не очень уютной, дюжина дубовых стульев с высокими резными спинками, дубовый раздвижной стол, модный буфет с зеркалом, в которое никто не может глядеться, так высоко оно вставлено между двумя колонками-шкапчиками, картины, цветы в больших вазонах... на подоконнике лежит книга – «История философии» Куно Фишера...

Пришли уже гости – отец и мать Ивана Николаевича Галича. Николай Михайлович Галич – невысокий, коренастый старик. Седая борода. На сизом кончике носа пучок седых волос. Глаза у него выцветшие, голубоватые и очень похожи на глаза сына. Лукерья Антоновна, – высокая, худая женщина, в черном платке, строгая, надутая, чванная... Крашенные волосы причесаны по-модному, и их цвет не гармонирует с дряблым, бескровным старушечьим лицом и тонким носом, твердым, как кость. Из чванства она не снимает перчаток и расстается с ними, только когда садятся обедать.

Появления детей в столовой старики, обедавшие здесь только по воскресеньям, ждут терпеливо и без досады... Они привыкли... Отец, расставив ноги и расстегнув черный сюртук, с важным видом читает газету, а мать разговаривает со старухой, бабушкой барыни Елены Сергеевны. Бабушка, которую никто не называет по имени, очень старая, лет под восемьдесят... Она слушает Лукерью Антоновну, не отвечает, а только кивает головой. Ей все равно, что бы она ни услышала... Женился ли кто-нибудь, убили ли кого-нибудь, много ли проживает внучка денег, дорожают ли квартиры, посетило ли важное лицо город, – ей все равно... Может быть, она даже и не слышит, что ей говорят. Как всегда, она и теперь сидит у окна, вглядывается, прищурив глаза, в наступающую тьму, кивает головой и думает думу человека, который не сегодня-завтра умрет...

Она ведь очень стара и очень устала от всего, – от еды, от того, что надо дышать, переходить комнату, умываться, ложиться в постель... Текут года неустанно, опять дети, опять карьеры, любовь и радости и несчастья – все одно и то же...

Она любит глядеть в окно. Это ее последние радости... Глядит и как бы недоумевающе спрашивает то у рога утренней луны, такого бледного и легонького, как пушинка, то у солнца, что к вечеру становится против окна, сердитого, красного: «Что же это я засиделась здесь?» или «Где это я? Зачем жила и для чего родилась? Что я узнала оттого, что была когда-то девушкой, женщиной, матерью, теткой, бабушкой, что страдала и радовалась, и стала глубокой старухой?..»

Лишь теперь она что-то поняла, разгадала, и оттого у нее такой таинственный вид, и оттого так мудро все кивает головой и улыбается. У нее ведь тайны с окном, а никто об этом не знает. Не узнают, о чем она шепчется с луной утром рано, когда все спят, или с солнцем... Солнце она видит хорошо. Оно старое, престарое, в морщинах. Когда-нибудь и она будет стоять вот в том уголке на небе, – надо только немного подождать, еще поесть, подышать, столько-то раз умыться... И когда она станет на небе рядом с солнцем, то уж все поймет, потому что там все ответы...

Горничная разложила салфетки, нарезала хлеб и бесшумно удалилась.

В спальне Иван сидит подле Елены на большом широком красном диване и, нежно обняв ее, говорит;

– Вечером пойдем в театр... Интеллигентные люди должны ходить в театр, – а после него ночь, и опять мы будем вместе... Лена, помнишь картину Штука? Я прижмусь к тебе, и мы станем похожи на нее... Ты любишь меня?

– Люблю, а ты?

– Безумно! Даже странно, как безумно я люблю тебя. Говори тише, а то папа и мама услышат наши голоса и почтительно подумают про нас, – проснулись!..

Они прижались друг к другу и замерли. Живут ли они теперь, или никогда их не было? Бегут секунды, века... И так сладко вместе, так радостно чувствовать, что там, за окном, терпеливо и бессмысленно движется куда-то человечество, а они тут любовью все превозмогли...

Что важно для их жизни? Важно, чтобы завод Ивана хорошо работал, важно, чтобы кругом них все было налажено и не беспокоило, чтобы старший, двенадцатилетний мальчик, и младший, шестилетний, были веселы и здоровы, чтобы старики, – отец и мать Ивана, ни в чем не нуждались, чтобы прислуга не менялась и не нарушался привычный покой, и еще важно, важнее всего этого, – их любовь...

Иван всегда завален работой, получает с завода тысяч двадцать пять дохода, но уже мечтает о своих пятидесяти годах, чтобы удалиться от дел, отстраниться от жизни... Пусть люди делают, что хотят, стремятся куда-то, верят во что-то, создают, изобретают. Он поселится за городом, в спокойном особняке с садом, с фортепиано, с книгами по философии и искусству... ведь самое ценное в жизни, самое значительное – своя любовь и своя смерть. Любить он будет молитвенно, а к смерти готовиться, потому что все, что называется миром, природой, человечеством – мираж, и ни он, ни Елена к нему отношения не имеют.

Он отодвинулся от нее и стал гладить ее розовые руки от плеча к кисти.

«Иван опять хочет обнять меня, – подумала Елена. – Я люблю его, но хотела бы, чтобы он сейчас этого не делал... Я устала и плохо буду выглядеть вечером, когда придут гости: Савицкий, Глинский и другие... Нет, не это меня занимает... Скажу Ивану».

И она шепотом сказала ему, широко раскрыв глаза:

– Я все думаю о Любе Малиновской... Когда ты обнимаешь меня, или я тебя целую, я теперь невольно пытаюсь представить себе, что ты – чужой... Ведь она была привязана к своему мужу, а сошлась с Елецким, который гораздо хуже ее мужа, и я до сих пор не могу успокоиться. Вдруг бы и я...

– Ты не способна на это, ты – другая...

– Не в том дело... Если вдуматься глубоко, то начинает казаться, что любовь этому не может помешать. Я представляю себе чужого на твоём месте... Страшно, – она даже закрыла глаза, – ужасно страшно!.. Не могу...

– Елена! – сказал он и стал очень серьезен. Поперек лба его легла глубокая, тяжелая морщина.

– Ну, милый, милый, вот ты и нахмурился... Я боюсь, что мы слишком счастливы. Самое страшное, что мы слишком счастливы. Не успеешь подумать о чем-нибудь, и оно уже есть. Хоть бы какая-нибудь неприятность, какое-нибудь волнение! И... и хочется маленького несчастья для нашего большого счастья.

– Все эти мысли, Елена, – вздор, – сказал он, опять обнимая ее. – Как приятна твоя теплота! Я уверен, что этой теплоты нет нигде больше в мире. Мне почему-то кажется, что она двадцати девяти градусов, плюс одна миллионная... Такую немислимо физически воссоздать. Двадцать девять и одна миллионная, – повторил он, – смешно, право. Это – та самая, ради которой я от всего откажусь, так она нужна мне, так хорошо с ней.

– Я устала, – шепнула Елена

– Еще немного, и сейчас у тебя закружится голова. Где бы я ни был, я вижу тебя всегда подле себя. Ты стоишь в воздухе, такая, как сейчас... Я хорошо помню каждую твою черту и,

будь я слеп, я мог бы нарисовать тебя, так чувствую я твои линии... И я всегда слышу твой милый, немного странный голос.

– Почему у тебя слезы на глазах? – спросила Елена.

– Потому что у меня не хватает слов рассказать тебе все, что я чувствую, и как мне мила твоя душа, и твои глаза, и твои розовые руки...

– А тебе не страшно, что я только тебе принадлежу?

– Я не понимаю, – ответил Иван.

– Но я ведь не виновата, что у меня такие мысли. Порой мне хочется чего-нибудь деятельного. Чем мне заполнить день? Иногда мне жаль, что я так и умру, не узнав всего, что есть в мире. Я не обманываю себя. Наша жизнь не совершенство, и ты не совершенство, и бывают минуты, когда мне хочется подойти к окну, открыть форточку и высунуть из нее голову.

«Я все не то говорю, – подумала она, – я переживаю что-то другое, а что и как – сказать не умею, не знаю...»

– Какие странные мысли у тебя, – сказал он и замолчал, не решаясь вслух произнести того, что промелькнуло у него в голове.

«Разве в моей душе все спокойно?» – думал он.

– Для чего *мы* живем? Может быть, смерть – самое важное? Ведь кто понял ее власть, для того уже ничего не существует, нет ценного, ни великого, ни малого, ни прекрасного, ни безобразного, ни доброго, ни злого... А я понял... Еще минута такого головокружения, и все мне станет ясным...

– Да, безобразного, – стал он быстро повторять, – злого... не существует...

Но головокружение рассеялось, и увидел он себя рядом с Еленой. На него с испугом глядели ее сине-серые глаза, и она будто шептала:

«Не думай ни о чем: люди, мир, вселенная, это ложь. Правда – в ней, в Елене, в этом маленьком, отграниченном от природы существе; правда – в ее теплоте, в твоей любви к ней, в ее розовых руках...»

Постучали осторожно в дверь... Должно быть, горничная. Хотелось зажечь лампу и увидеть друг друга. Елена сидела, свесив ноги на ковер, тонкими, красивыми пальцами проворно заплетала распущенные волосы в косу и думала:

«Вечером будут гости... Какое платье надеть сегодня?... И как я счастлива, как счастлива! Даже петь хочется, так легко стало на душе...»

* * *

Белое солнечное утро. В порозовевшие окна вливается голубое небо, отчетливо вырисовывается церковь со своими как бы присевшими широкими пятью куполами и стройная высокая колокольня... А подальше, как в тумане, пронизанные лучами, реют желтые камни домов.

Елена сидит за туалетным столиком с распущенными волосами и очень внимательно, так, что потемнели ее сине-серые глаза, разглядывает свои обнаженные руки от кистей до плеч, поворачивает их так и этак, любитесь игрой солнца на чистой, атласной, с едва заметным золотистым пушком, – коже... Красивые, тонкие, длинные пальцы, – плечи же в зеркале просто ослепляют белизной и свежестью. От радости Елена кивает головой, улыбается нежно и ласково, и смеется, чтобы увидеть блеск своих белых, чудесных зубов.

Вчерашний вечер прошел очень весело... Были Глинский, Болохов, Савицкий, Капустин и ухаживали за ней. И что они ей говорили, что говорили! Она не понимает, как можно так держаться с замужней женщиной, как не стыдно! И все-таки вчера, как и в прежние разы, ей было интересно с ними... Она даже не сумела бы сказать, что именно. В действительности стыдно, не хорошо и не нужно, – каждое слово Глинского или Болохова, если понять прямо, – было оскорбительно, но оттого, что оскорбительно, оттого, что стыдно, она испытывала какое-

то особенное, незнакомое удовольствие, очень странное и волнующее... А тут еще пришло письмо от Любы Малиновской, которое ее совсем смутило.

«Если, – писала ей Люба Малиновская, – одна любовь делает жизнь прекрасной, то почему останавливаться на одной? Другая любовь должна сделать жизнь еще прекраснее, интереснее, богаче, и вот почему я сделала то, что сделала... Важно не то, сколько раз любить, а важна правда. Каждая новая любовь раскрывает душу глубже, делает ее разностороннее, радостнее, солнечнее... Пока я любила только мужа, я была точно девушка, а вот теперь, полюбив другого, мне открылось новое. Прежде я была в цепях заповедей, в цепях человеческой выдумки, а когда я цепи порвала и вырвалась на волю, то увидела, что испытывала ложь и жила в неправде... Я не хочу подчиняться человеческим заповедям, – моя душа – моя заповедь! Указанная Спасителем любовь, закрывающая душе все выходы, это – ужас, каторга!..»

«Закрою волосами лицо, – подумала Елена, бросив письмо на туалетный столик, – и буду мечтать...»

Да, когда-то, она была наивной, все воспринимала свежо, с удивлением, а теперь это прошло и больше не вернется. Жить же надо еще долго, долго. Раньше каждый день приносил что-нибудь новое и была прелесть в жизни; дразнило знать, что будет дальше, точно она интересный роман читала; были желания и удовлетворения, а теперь – она так счастлива, что ей желать нечего... У нее все есть: есть дети, которых она обожает, Иван ей ни в чем не отказывает, и вот оттого, что все есть и ничего не нужно – ей плохо. Она не несчастна, она счастлива, и это хуже всякого несчастья. Сиди перед зеркалом, разглядывай себя со всех сторон, улыбайся или плачь, если хочешь, а душа спит, замерла.

Она откинула волосы и посмотрела на себя в зеркало.

«Это я? – спросила она себя. – Ужели я – та, которая смотрит на меня из зеркала? Да, я, – ответила она себе с радостью – я, я!»

«Если одна любовь дает счастье, то две любви дают два счастья, и это интересно», – промелькнуло у нее, и она покраснела от удовольствия, от смущения, стыда и отвернула глаза, чтобы не видеть своего лица...

Виноват в ее томлении Иван. Она его нежно любит, но все-таки он в ней что-то убил. Раньше, лет пять тому назад, она была другой. Все человеческое имело для нее ценность... Она верила в Бога, знала, что хорошо, что дурно, что нужно и что ничтожно... Пришел Иван и во всем ее разочаровал. Разговоры, чтение книг философских и научных, постоянная критика – и наступил конец ее безмятежности... Теперь она твердо знает, что Бога нет, даже смешно подумать о нем, когда так ясно, что человек и Бог вместе немыслимы... Или человек, или Бог. Ведь если бы Бог, действительно, существовал, то люди, уверовав в него, вместо того, чтобы прозябать здесь, ссориться, мучиться, делать какие-то дела, распределять землю, пахать, воевать, – ради вечного блаженства, немедленно прекратили бы свою жизнь... Вот что ей навеки доказал Иван. Человечество оттого и может существовать, что Бога нет. Также она твердо знает, что человечество совершает круг на месте и что движение вперед есть иллюзия... Жизнь начинается, разрушается и ничего не остается... Человек, зверь, все живущее, растущее – исчезнут навеки и не повторятся. Горы, моря, сам земной шар когда-нибудь расплывется, потухнет солнце, погибнет солнечная система, начнется хаос, и снова пройдут миллионы лет и неизвестно еще, восстановится ли, как было. И так будет продолжаться вечно, без всякого смысла, без оправдания... И если подумать, что это бесконечно и вечно, то начинает казаться, что сходишь с ума, падаешь духом и не хочется уже соваться с человечеством, с его какой-то правдой, с его желаниями и стремлениями. Какую роль можно отвести добру и злу, исканиям и вере среди ужаса этих квадриллионов лет, биллионов верст, и во что ей верить, если она все знает; знает, что непременно умрет, как комарик какой-нибудь, как василек?... Нет загробной жизни, никому ничего не воздастся, и прав Иван, когда говорит, что нужно пользоваться жизнью, брать от нее все блага и думать только о себе, ибо нет возмездия нигде, во всей вселенной...

Она опять погляделась в зеркало. Как она бледна! Недалеко и с ума сойти, и страшно ей наедине с собой... Она наивна, ничего в действительности не переживала, а, благодаря Ивану, душа у нее, как бездна и стара, как мир... И если бы не любовь к Ивану, к детям, она, может быть, покончила бы с собой, так ей страшно иногда становится жить, так угнетает мысль о малости и ничтожности своей и всего человечества в сравнении с миром, его бесконечностью и неисчислимыми миллионами лет...

Сложилась ее жизнь так. Будто на заре она вышла доверчивая, полная надежд, жизнерадостная, по какому-то своему человеческому делу, и на пути вдруг кто-то крепко ударил ее по голове и изувечил навсегда. Вместо человеческого дела осталось на всю жизнь увечье, и с этим увечьем надо было жить и дальше, и поступать, как приказывает увечье, то есть, не верить ни во что, примириться с тем, что ни высокое, ни дурное, ни прекрасное, ни даже ее любовь к Ивану, его любовь к ней, ни привязанность к детям к кому бы то ни было, не имеет ценности и что бессмысленно все человеческое и всякое усилие во имя чего-нибудь.

Она достала утюжок, смазала розовой пастой ногти.

А все-таки в магазины она сегодня пойдет... Пусть квадриллионы лет, разрушение, бесконечность – потрясающая чепуха, а все же духи кончились, и она сегодня купит ландыш Коти... Купит перчатки. Купит еще что-нибудь, вообще будет покупать, покупать... Самое главное – не задумываться серьезно, все равно ничего не выдумаешь.

Так рассуждая с собой и вдруг развеселившись, она встала. Взгляд ее упал на рояль, стоявший тут же, в спальне, с недавнего времени. Машинально она села, лениво открыла его и сыграла на память баркаролу Мендельсона. Руки она держала строго вытянутыми и, играя, высоко поднимала их. Закрыв глаза, перебирая пальцами клавиши то быстро, то медленно, она как всегда, замечталась, и ей пригрезилось, что она плывет в гондоле и красивый гондольер поет эту баркаролу. На посеребрившие камни старинных дворцов, мимо которых плыла гондола, будто спустились синие тени, тихо вздыхала зеленая вода под черным веслом, а песнь гондольера звучала просто и нежно, и искренни были его слова.

«Приди, и я успокою тебя», – так, казалось, пел гондольер. И дальше он пел о том, что нежностью своей зажжет искру детской веры в ней и снова радостны будут мечты о вечной жизни... Что он зажжет светильник в ее сердце, и светильник этот будет любовью к людям, к страждущим, к мученикам... Что загадок нет, а есть вечный единый Бог...

Слыша это, Елена задерживала левую руку на клавишах, и долго и торжественно звучали в ее душе аккорды... Она не помнила, когда перестала играть. Сидела она, наклонившись над роялем, руки ее все еще лежали на молчавших клавишах, и плакала хорошими слезами.

В магазины она раздумала ехать... Посидев еще немного, она тихо встала и, как была в одной сорочке, в туфлях, с распущенными волосами, подошла к окну, выглянула на улицу и машинально взяла толстую книгу, лежавшую на подоконнике. Это был том арабских сказок. Она раскрыла его и начала читать тут же у окна, как ребенок увлеклась и забыла, что с ней, где она. Слезы высохли на ее глазах, а от волнения она порозовела... Отбрасывая рукой пряди волос, спадавшие на глаза, она перелистывала страницы, быстро глотала строчки и думала с сожалением о том, что родилась в скучный, прозаический век... Но через час она уже была на улице, потому что позвало ее веселое солнце, смеющаяся толпа...

Сначала она пошла тихо, важно, медленно, с намерением только пройтись, подышать воздухом, полюбоваться красками улицы и вернуться, но не прошла и десяти шагов, как раздумала.

Извозчика она позвала движением руки, одетой в лайковую перчатку. На дрожках Елена сидела ровно, стройно, чуть-чуть улыбаясь, и всем встречным она нравилась... У какого-то магазина она велела извозчику остановиться, расплатилась, вошла и в одну минуту накупила массу ненужных ей вещей. Отсюда она пошла в другой магазин, и вскоре образовался большой сверток, который она приказала отослать домой. Счастливая, что так мило провела время, она

вышла из магазина. В больших зеркальных стеклах отражалась ее стройная фигура, и она с удовольствием оглядывала себя то в том, то в другом окне. И столько беззаботности было в ее лице, так оживленно блестели ее глаза, что трудно было поверить, будто недавно она была несчастна, близка к самоубийству. У дверей одного магазина она неожиданно столкнулась с выходящим оттуда доктором, Иваном Андреевичем Савицким, и покраснела... Почувствовав теплоту в щеках, она еще больше смутилась и совсем стала похожей на девочку, которую уличили в чем-то дурном. Между тем, Савицкий, заметив, что она покраснела, уже нарочно в упор посмотрел на нее, радуясь тому, что он был причиной ее смущения. Поклонившись, он поднес ее руку к своим губам, с удовольствием вдохнул тонкий запах духов и, подняв голову, уже совершенно откровенно, быстро оглянул ее всю, будто тронул руками. Елена опять покраснела и стала еще милее.

«Он заметил, что я покраснела, – подумала она, – и, может, Бог знает, как дурно объяснить себе это. Какая досада!.. Я не буду больше смотреть на него».

Савицкий шел рядом и нарочно насмешливо, словно Елена была девочкой, говорил:

– Конечно, Елена Сергеевна ходила по магазинам... Уж вы не отнекивайтесь. Знаю я, как барыни время проводят... И того закупили, и сего и всякого, а, вероятно, все ненужное.

– Да, ходила по лавкам и закупила ненужного, – улыбаясь и не понимая, отчего чувствует себя счастливой, ответила Елена. – Разве нельзя?

– Нельзя, – строго сказал он и сейчас же бросил шуточный тон.

Они шли и разговаривали о пустяках, о том о сем, о встречах, о знакомых и о последней книжке, о театре, о ее муже, и о его жене, с которой он давно уже нехорошо жил... Рассказал об этом Савицкий просто и сердечно. Дом разделили на две половины: на одной жила жена – Савицкий описал ее высокой, некрасивой, чопорной женщиной с дочерью, учившейся на курсах, а на другой – он... Дочь его не любила, кажется, презирала... Встречались они только за обедом.

– Да, это очень грустно, – сказал он со вздохом, – а я ведь женился по любви... Нет, уж лучше помолчать о том, что думаю.

Чем-то приятным повеяло на Елену от Савицкого. Трогало его доверие и было какое-то обаяние в том, что серьезный, поживший человек, которому было за сорок, много испытавший на своем веку, вдруг открыл перед ней душу.

Постепенно, переходя от одной темы к другой, перебирая знакомых, вспомнили и Любу Малиновскую. Елена рассказала о письме, которое получила от нее... Савицкий страшно обрадовался и стал говорить, но не о письме, а о том, что ему хотелось непременно сказать Елене.

– Я понимаю Любовь Андреевну, – произнес он, – ведь так приятно и страшно ходить над пропастью... – В письме ничего не говорилось о пропасти. – ... Я уверен, что муж непременно застрелит Елецкого... – И об этом в письме ничего не было. – ...не сегодня, так завтра, а Любовь Андреевне, может быть, это только и нужно... самый испуг... И если бы я знал, – будто неосторожно вырвалось у Савицкого, тут Елена почему-то побледнела и испугалась, – если бы я знал, что ваш муж застрелил бы меня, и знал наверное, что это мне угрожает, то стал бы энергичнее добиваться вашей любви, чем добиваюсь теперь...

Она замерла, притихла. Сердце у нее перестало биться, и было только желание поднять руку и положить ему на губы, чтобы он замолчал, не говорил больше. Она не знала, что ответить, не знала, как держаться дальше и от страдания все больше краснела и ниже опускала голову. Он же, словно ничего дерзкого не сказал ей, заговорил о другом с таким увлечением, будто ему было всего двадцать лет.

– Вы часто краснеете, Елена Сергеевна, – сказал он вдруг. – Я отдал бы пять лет жизни, чтобы быть способным краснеть, как вы... Я, может быть, говорю пошлости, и если вы это чувствовали, то простите меня, – искренно произнес он... – Чего мне искать в жизни? – неожиданно спросил он ее, и она опять похолодела. – И что мне делать в ней? Мне нужно было

родиться лет пятьсот назад, быть охотником, преследовать зверя, жить в лесу с солнцем, с деревьями, с дождем, а я всего только доктор... Я люблю изменчивое, что мелькнуло, как видение, и что скользнуло мимо глаз... Я весь в минуте, в ощущении... Как хорошо, что вы улыбнулись на мои слова... Для меня ваша улыбка – заблагоухавший цветок, оживший камень... Если я говорю пошлости, – повторил он, – простите меня.

– Нет, не пошлости, Иван Андреевич, – с трудом ответила Елена, – но не говорите со мной... так! Я краснею от ваших слов.

– Вы правы, – торопливо сказал Савицкий, – и я больше не буду... У меня дурная привычка говорить вслух все, что я думаю.

Она промолчала, опять не зная, что ответить ему, но вспомнила о всеобщем разрушении, о распылении миров, о вечности и подумала, что слушать Савицкого не страшно, не оскорбительно и не дурно. Она только робко сказала ему:

– Пустите мою руку, мне жарко.

Расстались они неохотно... Ему хотелось говорить, ей хотелось слушать... Он усадил ее в дрожки и почтительно поклонился. Она уехала.

Сидя в дрожках, как всегда ровно, стройно, Елена чувствовала себя счастливой, улыбалась встречным, раскланивалась со знакомыми.

«Странно, – думала она, – у меня все еще дрожат руки, но еще более странно, что я не упрекаю себя, что не говорю: „кажется, я совершила дурное“».

Она вспомнила желтоватое лицо Савицкого, мелькавшее кое-где серебро в его бритом подбородке, мешки под глазами и стало на миг неприятно. Когда он смеялся, сверкало золото пломбированных зубов, или, может быть, он носил вставные зубы, – но было нечто в нем, покрывавшее то, что он был не молод, и желтоватое лицо, и мешки под глазами, и она не знала, что именно. Но это «нечто» было приятное. Хотелось и теперь быть с ним, закрыв глаза, слушать, как он рассказывает о жене, о дочери, о себе, – отдаваться его образам, думать, как он, и желать быть охотником пятьсот лет тому назад...

* * *

У Елены была гимназическая подруга, Маша Антоновская, с которой она не встречалась лет десять. Случилось, что сына няни Маши Антоновской, работавшего на химическом заводе Галича, удалили за какую-то неисправность... Маша Антоновская съездила к Елене похлопотать за уволенного, и тут подруги вспомнили далекое прошлое: гимназию, строгую начальницу в черном платке, всех классных дам и много смешных случаев из гимназической жизни... Вспомнили кондитерскую, куда после уроков ходили гурьбой покупать пирожные, гимназистов, провожавших их домой, ученические балы и многое другое. Маша Антоновская, которую Елена по старой памяти, называла Машенькой, однако, просидела недолго, больше слушала, чем говорила, и все посматривала на миниатюрные черные часики, которые часто вынимала из-за пояса... На прощанье она позвала Елену к себе, посмотреть, как она живет.

Расстались подруги дружески, хотя Елена нашла что-то неприятное в Машеньке, что-то новое, чего она в ней не знала... В гимназии Машенька Антоновская считалась первой шалуницей, проказницей, ветренницей. Она была маленькая, живая, с черными быстрыми глазками, с вздернутым носом и кудряшками. Но вздернутый носик вырос, стал большим, некрасивым, а сама она сделалась какая-то деловитая, сдержанная, подчеркнута серьезная.

Вот эта-то чрезвычайная, подчеркнутая серьезность, которая проглядывала в каждой мелочи, неприятно поразила Елену. Поняв причину своего недовольства, она решила, что Машенька – обыкновенная, неразвитая женщина, пожалела ее и пожалела о том, что жизнь ломает человека. Вместо того чтобы идти к своему освобождению, человек все больше замы-

кается в цепях больших и малых пустяков... И в этот день Елена была неверующей, как никогда еще до сих пор.

Однажды ее потянуло к Антоновской... Она быстро собралась, наказала бонне присматривать за шестилетним Борисом и отправилась. Позвонив у дверей квартиры Антоновской, и отдав горничной пальто, не снимая шляпки, Елена побежала по комнатам, неся с собою оживление и солнечный трепет улиц, по которым сейчас проезжала. Машеньку она нашла в детской, самой лучшей здесь, самой большой и светлой комнате, но восклицание приветствия замерло у нее на устах, когда увидела, что Машенька делает ей знак молчать...

Елена растерянно кивнула головой и на цыпочках вошла в комнату. Сидя на стуле и поставив ноги на скамеечку, Машенька кормила ребенка. Лицо у нее было торжественно. Придерживая грудь, внимательная, порозовевшая от удовольствия, она не спускала глаз с мальчика, поворачивала голову, когда он ее поворачивал, и со смехом откидывалась назад всем телом, когда он бросал сосать и оглядывал то потолок, то стены, то окна.

Тут же стояла няня, та самая, за которую хлопотала Машенька, очень опрятная, полная, с добродушным лицом, женщина, державшая в руках одеяльце наготове, чтобы прикрыть мальчика, когда барыня прикажет...

Благоговение, и радость, и счастье Машеньки на миг передались Елене. Она вспомнила своего Колечку, которого сама выкормила, – Бориса она отказалась кормить, чтобы не портить фигуры, – и на миг перенеслась на десять лет назад. Даже в груди она испытала то особое приятное ощущение томления, которое доставляло когда-то столько наслаждения и о котором совершенно забыла, точно его никогда и не было.

Она стала сзади Машеньки, приподнялась на цыпочки и начала улыбаться мальчику, звать его, причмокивать губами, и левая бровь у нее поднялась, как десять лет тому назад.

Так прошло несколько времени... Когда мальчик уснул и его уложили в кроватку, няня заботливо и благоговейно накрыла его одеяльцем, трижды перекрестила, – и после этого все три долго еще стояли и наблюдали, как он, розовенький, гримасничает, со сна улыбается, хмурится, и вышли из комнаты лишь по настойчивому, внушительному требованию няни.

В столовой, какой-то бесцветной, крошечной, им сейчас подали кофе, тартинки. Машенька с незнакомым Елене оживлением, начала рассказывать о Васеньке... Рассказывала она обо всем – о его прелестях, и о том, когда у него животик болел, и о понятливости, и о замечательных способностях, но с таким жаром и верой в значительность того, что она говорит, что Елене опять стало неприятно, и она про себя подумала: «Машенька еще не дошла. Она вся в чаду, а я уже пережила это, и мне лучше».

Потом Машенька спохватилась, вспомнила о Елене, спросила о здоровье, о детях, о муже и равнодушно выслушала ответ Елены о том, что она благополучна, что Колюшка учится в гимназии, что химический завод мужа работает очень хорошо... В эту минуту Антоновской показалось, что Васенька заплакал. Она вскочила, и на лице ее изобразилось страдание, и вне себя выбежала из столовой. Однако тревога оказалась ложной, и, перекрестив три раза ребенка, она вернулась к Елене, все еще чуткая и настроенная... Но лицо ее уже сияло.

– Сейчас, – сказала Машенька, не сомневаясь в том, что Елене это интересно, – мы сядем шить рубашечки Васеньке. Как он растет, ты себе представить не можешь. Ты тоже шьешь дома?

– Нет, не дома, – улыбнувшись, ответила Елена.

– Вот как, – удивилась Машенька, – а мы сами все делаем... Ты, Ленка, даже не подозреваешь, сколько труда сделать жизнь ребенка сносной. Ведь надо вырастить человека, – с важностью сказала она.

– Я не узнаю тебя, – отозвалась Елена... – Ты – Машенька Антоновская!

– Ах! – Антоновская махнула рукой: ее, видимо, не тронуло восклицание Елены. – Надо много, много учиться, чтобы не повредить ребенку... У меня с утра с ним хлопоты, я ни о ком

и ни о чем не думаю, кроме него. Ночью кормлю его два раза и даже некогда быть женой, – это она сказала шепотом. – Вообрази, Сережа стал меня ревновать к Васеньке, а я не могу иначе... Васенька должен вырасти здоровым, сильным, смелым, гениальным...

– А твоя жизнь? – прервала ее Елена, которой слова эти показались смешными и глупыми.

– Какая моя? – удивилась Машенька. – Но ведь это и есть моя – его жизнь, – быстро заговорила она. – Я свое уже сделала, когда была девушкой... Помнишь, и училась, и проказничала, книжки читала, танцевала на балах, флиртowała, влюблялась... Когда кончила гимназию, стала работать в кружках, читала серьезные книги, увлекалась социализмом... Я была хорошим человеком. А потом начала серьезно думать о будущем и, слава Богу, удачно вышла замуж. Тогда моя личная жизнь кончилась. Я – хорошая жена, не влюблена, как ты, в своего мужа, но ценю Сережу, его характер, его ум. Он – отличный врач, у него в больнице своя палата, и я его уважаю.

– И это не скучно? – недоверчиво спросила Елена, вспомнив о Любе Малиновской.

– Скучно? – повторила Машенька и во все глаза посмотрела на нее. «Какая странная эта Елена, – подумала она, – или притворяется, не пойму ее». – Да у меня ведь нет минутки в день свободной, чтобы скучать, – громко сказала она. – Я влюблена в Васеньку... Для него я раззнакомилась со всеми, никуда не хожу, нигде не бываю... Из него должен выйти прекрасный человек, отличный гражданин... У нас еще очень мало настоящих граждан, Елена, и оттого их мало, что матери об этом не позаботились.

«Как все это скучно, добродетельно и старо, – думала Елена, слушая ее, – и какая она наивная. Боже мой, ведь я сама когда-то думала, как она. Она даже не подозревает, как ничтожен ее идеал, а я поняла, и мне теперь хорошо, я свободна».

Однако мыслей своих она не сказала Машеньке, не подарила их ей, потому что ребенку не дарят бриллиантов... И вдруг Елене стало скучно здесь, Тесно в этих комнатах, сделалось страшно от этого честного, добродетельного покоя, от этой Машеньки, которая еще верит в граждан, от ребенка-удава, уже начавшего пожирать человека, его жизнь, его личность.

– Тебе скучно? – спрашивала между тем Машенька.

– Нет, не скучно, – лицемерно ответила Елена. – Может быть, пойдешь погулять? Впрочем, звать тебя напрасно, а на улице теперь удивительно хорошо.

– Вот, что ты придумала, – засмеялась Машенька, – гулять! Не сможешь ли ты мне кроить? Ты не умеешь кроить, – серьезно и с укором сказала она, – как это странно, ведь у тебя двое детей; а я вот выучилась, купила швейную машину, научила и няню шить, и в свободную минуту мы шьем...

На улице Елена легко, радостно вздохнула. Больше она никогда не пойдет к этой женщине... Бог с ней, с ее честностью, добродетелью, с ее верой и гражданами. Какое чудное солнце на небе и как хороши и прекрасны люди на улице!.. Они свободны, как птицы. Они слетаются и разлетаются. Улицы точно дорожки, дома же – деревья, и звуки рожков, будто трубят охотники. Город, как лес... Пятьсот лет назад Савицкий был охотником!.. «Мне хорошо с вами, свободные люди, – хочется ей крикнуть. – Вы ведь, как и я, ни во что не верите... Солнце, таинственный лес-город, поглоти меня!»

Опять она сидит в дрожках, стройная, красивая, непохожая на других женщин, какая-то особенная, и думает: «Если бы кто-нибудь знал, какие у меня мысли!.. Как я все понимаю...».

* * *

...Утро воскресенья... Елена, отправив детей, Колю и Бориса, погулять, бесцельно слоняется по молчаливым, уютным комнатам.

Иван уехал на завод по делам, кроме того, ему необходимо было повидаться с адвокатом Морозовым, который вел его тяжбу с соседом о захвате земли, и, против обыкновения, обещал вернуться лишь к обеду.

И вот, выпив утренний чай и надушившись, Елена без дела слоняется по комнатам... То выглянет на улицу, то подойдет к роялю и возьмет несколько аккордов, потом захлопнет крышку и сидит неподвижно, уставившись в одну точку.

Странные мысли бродят у нее в голове, – руки тянутся к книге на столике, она открывает ее, машинально читает, затем кладет в сторону с недовольным видом, и снова мысль ткет свой причудливый узор, родившись от безделья, от сытости... Опять ей не сидится и надо подняться, пойти куда-нибудь – в гостиную разве, в мужнин кабинет, в столовую? В столовую!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.